

А. А. СУРКОВ

КУЛЬТ ПУШКИНА В С. С. С. Р.

(О Ч Е Р К)

ВИЛЬНО — ВАРШАВА

1938 г.

Культ Пушкина в СССР

1. Юбилейныя торжества и политика Сталина. 2. „Евразійскіе“ мотивы в творчествѣ Пушкина. 3. Революція в совѣтском Пушкиновѣдѣніи. 4. Три Пушкина — довоенный, большевицкій и... настоящий. 5. Юбилей Пушкина в стихах совѣтских поэтов.

1.

Было бы наивно предполагать, что совѣтская власть явилась дѣйствительным вдохновителем празднованія Пушкинской годовщины. Правильнѣе будет сказать, что совѣтская власть учла значеніе для населенія СССР имени Пушкина и использовала это значеніе, выступив в роли официальнаго инициатора и возглавителя торжеств, посвященных памяти великаго національнаго поэта. Надо признать, что из всѣх „кампаній“, предпринятых когда либо большевиками — кампанія по проведенію празднованія столѣтней годовщины со дня смерти А. С. Пушкина закончилась наиболѣе успѣшно. Широкія массы на этот раз ревностно подхватили брошенный диктаторской властью Сталина лозунг. Знаменательно, что в организацію „праздника Пушкина“ включились почти всѣ: и официальный аппарат СССР и его политическій „актив“ и сѣрая масса безпартійных. Учитывая замѣтное участіе в юбилейных торжествах русскаго Зарубежья, можно сдѣлать неоспоримый вывод, что Пушкин явился тѣм общим національно-культурным звеном, в котором временно, хоть и в разных формах, об'единились оба эти политическіе міры Россіи, несмотря на раздѣляющую их пропасть. И публицистика и литературная критика СССР в теченіи долгаго періода была буквально наполнена Пуш-

ных лѣтъ Россіи“ было что-то, что совершенно исключало возможность говорить о національно-политических цѣнностях великорусскаго племени даже опираясь на основы марксизма, т. к. грозило это подвергнуть обвиненію в великодержавном шовинизмѣ. В отношеніи окраино-инородческих элементов Россіи к октябрьской революціи обнаруживалось нѣчто двойственное. Они шли за ней, поскольку она раскрѣпощала их національно, разрушая в лицѣ Имперіи „великую тюрьму народов“. Дальше пути инородцев и большевизма замѣтно расходились. Способность длительно жертвовать собой во имя „міровой революціи“, в пользу европейских рабочих, по своему цѣнящих собственное „мѣщанское благополучіе“, и почти равнодушных к судьбам Россіи, была, кажется, преимущественной чертой предѣльно голоднаго и нищаго великорусскаго пролетаріата. На 21 году невыносимаго экономически „соціализма в одной странѣ“ жертвенный революціонный энтузіазм совѣтскаго „актива“ не мог не остыть. В Кремлѣ родилось небезосновательное опасеніе, что тот социальный строй, который принесут с собою „интервенты“, не вызовет, пожалуй, в средѣ населенія СССР ярко выраженнаго по отношенію к себѣ отталкиванія. „Национальная гордость“, о которой заговорили вдруг „Правда“ и „Извѣстія“, могла бы остановить интервенцію, но она была в великоруссах убита десятилѣтіями систематической пропаганды космополитизма: „у рабочих нѣтъ отечества“. Цѣня великоруссов в качествѣ цемента, связующаго СССР, власть Сталина увидѣла себя вынужденной поднять самочувствіе этого „цемента“, стимулировать его національно в цѣлях обороны „перваго в мірѣ пролетарскаго государства“.

2.

Пушкин и его годовщина пришлись здѣсь очень кстати. Геніальный поэт, лучезарный и легкомысленный по странному предразсудку (бывают же такія интеллектуальныя иллюзіи!) олимпіец, Пушкин оказался очень удобным символом в плоскости проблем и умонастроений внутри—національной политики Сов. Союза. Как мѣтко писал нѣсколько лѣт тому назад смѣновѣховец Куприн, в Пушкинѣ было слишком много крови для того, чтобы он мог оставаться глухим к могучим зовам имперскаго культурно-историческаго строительства Россіи. С другой стороны:

„и долго буду тѣм любезен я народу,
что чувства добрыя я лирой пробуждал,
что в мой жестокій вѣк возславил я свободу
и милость к падшим призывал...“

В гуманистѣ Пушкинѣ, в самом дѣлѣ, было много національной широты, немало живого ощущенія многонаціональности историческаго состава русской жизни. Мы рѣдко задумываемся над тѣм, как сильно с кругом избранных друзей Пушкин был оторван от социальных и национальных инстинктов и взглядов той помѣстно-аристократической и казенно-столичной среды, к которой он принадлежал и в которой коренился бытовыми, личными корнями своего существа. Всюду успѣвающіе большевики разыскали в архивах собственноручную резолюцію Александра III на протоколѣ дознанія по дѣлу революціонеров, помогавшихся „образование сдѣлать доступным для народа“. „Какая дикая нелѣпость“ или что-то в этом родѣ, с орфографическими ошибками написал покойный царь. Еще очень недавно, в эпоху и на страницах „Русских Богатств“ всерьез дебатировали о том, мѣсто ли „кухаркиным дѣтям“ в гимназіях. Обезцвѣтившійся в школьных хрестоматіях мотив, конечно, был необыкновенен во времена Скалозубов:

„Слух обо мнѣ пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущій в ней язык:
И гордый внук славян, и финн и, нынѣ дикой,
Тунгуз и, друг степей, калмык...“

Как бы Пушкин изложил „Исторію Пугачевского бунта“, если бы она писалась не по официальному заказу Высочайшей Особы, об этом можно только догадываться. Муза Пушкина политически была далеко не невинна. В этом прекрасно разобрался Особаго Корпуса Жандармов шеф, ген. фон Бенкендорф, безжалостно выбрасывая из стихотворенія „Кавказ“ его заключительныя строки, „замѣчательныя по мощи и напоенныя политической мыслью“, как отмѣчает совѣтскій критик Е. Тарле:

„Так буйную вольность законы тѣснят,
Так дикое племя под властью тоскует,
Так нынѣ безмолвный Кавказ негодует,
Так чуждыя силы его тяготят...“

Кавказ и Польша были самыми „невральгическими“ пунктами имперіи Николая I, и отнюдь не приходилось позволять захудалому аристократу А. С. Пушкину „глаголом жечь сердца людей“ того жестокаго вѣка. В своих странствованіях по южным предѣлам страны Пушкин видѣл и переживал очень многое из того, что он не мог выразить открыто. Поэтому, поэтическое наслѣдство Александра Сергѣевича в руках изворотливых большевиков годится для созданія вокруг праздника поэта атмосферы нѣкой обще-евразійской ¹⁾ и даже свободолобивой солидарности и заглушить пьянящими звуками его лиры эхо залпов, которыми подавлялось возстаніе одной из самых привилегированных національных республик Союза, Грузіи.

¹⁾ Во избѣжаніе прискорбных недоразумѣній и диких обвиненій, которыми, к сожалѣнію, изобилуют наши публицистическія отношенія, считаю нужным оговориться, что выше я имѣю в виду созвучное, по моему мнѣнію, современному евразійству и очень рѣдкостное тогда, в эпоху Пушкина, стремленіе послѣдняго в многочисленных азіатских націоналах Россіи усматривать дѣятельных и культурно полноправных будущих соучастников обще-государственнаго строительства.

„Это голос самих ущелій,
Гдѣ за пазухой нѣтъ ножа;
Руку Пушкину Руставелли
Руку Лермонтову, Важа!“

Критическіе и художественные (в прозѣ и стихах) труды о Пушкинѣ, написанные на многих десятках языков національных меньшинств СССР, составляют в силу вышесказаннаго особый, очень обильный род юбилейных публикаціи сов. печати. Плохо и хорошо, фальшиво или искренно, но о Пушкинѣ пишут в духѣ всесоюзной солидарности представители всѣх націоналов, начиная с украинскаго и кончая континентально-азиатским племенами без культурной традиціи, но с грамматикой и алфавитом, разработанными для них заботливой Академіей Наук. Прославленіе Пушкина в плоскости его „евразійскаго“ значенія производится и на русском языкѣ. Я безсилен дать даже самую общую характеристику громадной литературы этого рода в столь кратком очеркѣ. Приведу лишь в качествѣ иллюстраціи стихи Берга, „перекликающіеся“ с одой „Памятник“ и поражающія своей казенностью и слащавостью:

„Старик тунгус, пріѣхавшій на С‘ѣзд
Задѣт лучами праздничнаго свѣта.
Он теплый бублик на морозѣ ѣст
И ходит неспѣша вокруг поэта,
Который шляпу комкает в рукѣ.
Старик глядит на памятник высокій
И на родном, тунгузском языкѣ
Твердит тихонько Пушкинскія строки“.

3.

При всей, еще в 19 вѣкѣ коренящейся старомодной гуманности царской цензуры — она все же препятствовала до конца искренно изучить политическую сущность Пушкинского творчества. В довоенном пушкинизме царила нѣкоторая заглость. Еще перед своим возвращеніем в Совдепію извѣстный литературовѣд, кн. Д. Святополк-Мирскій, опредѣляет, как „скучнѣйшее словоблудіе“, большую часть того, что в громадной литературѣ стараго пушкиновѣдѣнія было высказано о внутренних законах творчества Пушкина. Мы были бы совершенно бездарным народом, если бы историческая трагедія революціонной смуты Россіи не освѣжила бы нас морально, заостряя наш ум и заставляя по новому смотрѣть на вещи. Уже в первые годы большевизма внимательнѣйшія изслѣдованія Б. Томашевскаго и М. Л. Гофмана знаменовали новую, пореволюціонную фазу в изученіи Пушкина: я не буду здѣсь приводить многочисленных имен других выдающихся пушкиновѣдов СССР и Зарубежья.

Совѣтская власть открыла ученым всѣ архивы и всѣ возможности обнажить революціонный смысл творчества и жизни русскаго поэгическаго генія. Всѣ мы знаем, с какой жадностью внутри—русскіе пушкинисты начали распутывать роковой узел вопросов и взаимоотношеній, разрубленный чуждой рукой Дантеса. Может быть, с точки зрѣнія общей организациі изученія матеріалов пушкиновѣдѣнія столь односторонній и развившійся под давленіем компартіи интерес изслѣдователей именно к гибели и трагедіи поэта является чѣм то ложным. Но с точки зрѣнія накопленія конкретных данных для общих, творческих обобщеній—наука о Пушкинѣ в указанном направленіи сдѣлала не один, а много шагов вперед. И чѣм очевиднѣе становились успѣхи „точных“ пушкиновѣдов — текстологов,

историков и фактографов, чѣм больше всеобщаго признанія добивались в СССР эти „прямые подвижники“ (слова критика—марксиста) пушкинизма—тѣм отчетливѣе все совѣтское пушкиновѣдѣніе разслаивалось на два параллельные слоя, сначала взаимно изолированные, а затѣм и почти враждебные друг другу. Нижній слой „подвижников“, „засвѣтив свою лампаду“, жадно и плодотворно пил из чистаго научнаго источника точнаго, дѣловаго изученія любимаго предмета. Верхній слой ортодоксальных теоретиков-марксистов обобщал итоги работы первых, строя абстрактныя схемы в духѣ своей доктрины и потом втискивая в них жизнь и душу поэгическаго вдохновенія Пушкина. Несмотря на террор, моральный и политическій, долго так продолжаться не могло. Скоро в совѣтской же средѣ нашлись безпощадные изобличители научной безпочвенности пріемов, примѣняемых пушкиновѣдами-марксистами. Один из послѣдних, Г. Благой очень обидѣлся на обличительную статью Сельвинскаго в „Литературном Наслѣдствѣ“ и передает ее так: „раздѣлил всѣх пушкиновѣдов на агнцев и козлищ: у первых, в особенности у текстологов — все — блестяще, у вторых (марксисты, А. С.) — все сплошь путаница и неразбериха“. С появленіем в московской печати статьи П. Розенталя „О марксистствующих критиках и социальном анализѣ“ вокруг имени Пушкина разразилась настоящая публицистическая революція, уже теперь выражающаяся в почти полном разоблаченіи и развѣнчаніи всѣх столпов и авторитетов большевицкой литературной критики. Розенталь был так язвителен и рѣзок, что одно время казалось, будто за свою смѣлость ему придется заплатить многим. Но, очевидно, „дух времени“ он уловил вѣрно, и в настоящій момент его публицистическія выступленія звучат все увѣреннѣе и громче в то время, как голоса его оппонентов, бывших диктаторов литературно-критической моды СССР, замолкли почти совершенно.

Здѣсь нѣтъ возможности систематически излагать взгляды Розенталя и его противников. Я ограничусь приведеніем случайных цитат из их статей, чтобы ближе

ввести читателя в атмосферу совѣтских теоретических споров. В упомянутом критикѣ накопилось столько горечи и раздраженія, что он просто кричит: „О марксисты, о воители! О дальнороркіе политики! Сколько в вас благородія и усердія, как широки ваши горизонты и велики ваши идеи!“.

Бдкая иронія этих фраз направлена против „вульгарно-соціологической“ школы проф. Нусинова, Динамова и других ортодоксальных литературовѣдов СССР. Чѣм занимались послѣдніе? Они устанавливали „соціологическій эквивалент“ великих писателей и давали „чудовищныя опредѣленія“ их соціальной природы. Но пусть лучше об этом рассказывают сами большевики. И. Нусинов вѣщал:

„Геніален тот писатель, который в состояніи с максимальной полнотой и глубиной показать дѣйствительность так, как ее видит его класс, но только — как его класс“.

Аксиомы профессора-доктринера вызвали в молодом литературовѣдѣ Лившицѣ ряд законных сомнѣній теоретического свойства.

„Вѣдь Пушкин был геніальным, художником. дѣлится своими сомнѣніями Лифшиц“, а дворянство и буржуазія, как их не дѣли на части и как их не смѣшывай друг с другом в различных пропорціях — всего только два паразитических общественных слоя. Как представитель дворянской идеологіи, Пушкин был писателем классово ограниченным. Но, как великій художник он создал в своих произведеніях нѣчто такое, что возвышалось над интересами опредѣленной прослойки русских помѣщиков и даже над всей исторической практикой дворянства, взятого в цѣлом. Если Пушкин был только духовным выразителем узко-классовых интересов одной из групп дворянства, то в чем же его величіе, как поэта, и его значеніе для эпохи социализма?“

К атакѣ Лифшица на красных профессоров присоединяется Розенталь:

„Как они могут об'яснить десятки совершенно конкретных фактов развитія литературы, фактов, кото-

рые не укладываются в Прокрустово ложе вульгарно-соціологических формул?

Пушкин, несомнѣнно, был дворянским писателем. Но почему крѣпостническое государство ненавидѣло поэта и затравило его?“

В корнѣ фальшив по мнѣнію Розенталя самый метод „вульгарно-соціологическаго“ толкованія литературы:

„Исторія художественнаго развитія, полная драматической борьбы и мучительных противорѣчій, обусловленных дѣйствительной, реальной борьбой классов, сглаживается, прилизывается и подводится под вульгарныя иллюзія догматических „марксистов“.

Эти иллюзіи вредны „ибо от того, что Пушкин об'является царским лакеем, а Шекспир — писателем, выразившим оппозицію к феодализму — Пушкин не перестанет быть Пушкиным, Шекспир—Шекспиром“.

* * *

Страсти совѣтских журналистов разгорѣлись, и вокруг вопроса о классовой функціи творчества Пушкина создалась цѣлая полемическая литература. Стала ощутима необходимость в таком толкованіи этого вопроса, которое было бы авторитетным и клало предѣл идеологической анархіи в плоскости Пушкинской проблемы. Роль водворителя порядка взял на себя очень казенно и жандармски настроенный критик, П. Рожков. В журналѣ „Новый Мір“ появилась его начальнически рѣзкая статья, один из раздѣлов которе носил интригующее названіе: „Битва доцентов с профессорами или вульгаризаторы и ликвидаторы“. „Что все это значит?“ с законным недоумѣніем спросит читатель. А вот что: профессора — это старое поколѣніе теоретических законодателей совѣтской литературной критики (в их числѣ Нусинов и Динамов). Доценты—их взбунтовавшіеся выученники и продолжатели, прежде всего Лифшиц и Розенталь. И вот оказалось, что, по авторитетному опредѣленію Рожкова, красная литературовѣдческая профессура вульгаризировала марксизм, а их кровная, своя, совѣтская смѣна его... ликвидировала.

Но многочисленные Розентали не так глупы. Они сами обличают врагов, держась за древко Марксова знамени. Именно это позволяет им так рѣзко, так крайне в своих выраженіях „распоясаться“. О нѣт, научная молодежь СССР своих учителей не щадит! Вот что говорит она о вскормившей ее духовной пищѣ:

„Оборотной стороной ультра матеріалистической, казалось-бы, теоріи вульгарной соціологіи является самый доподлинный идеализм, идеалогическій произвол, суб'ективистская безпардонность в обращеніи с фактами, метафическая мертвечина и тупость“.

И Рожков не „навел порядка“. Он потребовал почти невозможнаго: не исказить лигературной реальности и остаться „чистым“, ортодоксальным марксистом, не показав теоретически, как это сдѣлать. Казалось бы, всѣ эти противорѣчія большевицкой соціологіи искусства не так уже велики, чтобы их нельзя было устранить при помощи ясных и простых формулировок. Но ясности и простоты боятся в СССР всѣ теоретики большевизма: если из содержанія вышеприведенных цитат сдѣлать всѣ выводы принципиальнаго порядка, то придется говорить о надклассовой функціи культуры, о національно-историческом сотрудничествѣ классов, о выростаніи творческой личности из рамок классовых интересов. Все это, может быть, с грѣхом пополам можно отчасти увязать с „чистым марксизмом“, но с ленинской теоріей классовой борьбы совмѣстить трудно. И Рожков затих, а в послѣдней статьѣ Розенталя довольно вызывающе упоминается „о т. т. Рожковых и им подобных“.

А между тѣм, внѣшній факт принадлежности писателя к данной средѣ еще не исчерпывает вопроса о происхожденіи и цѣнности его творчества. Схоластически рассуждая, можно с успѣхом доказывать, что творчество Пушкина „только“ личное, семейное или замкнуто-сословное. Нѣт, скажут Рожковы, класс — болѣе широкая соціальная среда, которая вытягивает поэта из его непосредственнаго окруженія. Но, и внѣ

классовая прослойка и целый народ — ведь это еще более широкая среда. Если уж обязательно пользоваться терминами научной социологии, то и народ является той социальной средой, которая выполняет свою биологическую функцию, и, поэтому, может подсказать писателю мотивы надклассового значения.

4.

Историческое неблагополучіе современной русской жизни, как я уже говорил, углубило наше общее отношеніе к автору „Мѣднаго Всадника“ и „Капитанской Дочки“. Духовная нетребовательность довоеннаго читателя, цѣнившаго в творчествѣ его „звуки сладкіе“, смѣнилась теперь жаждой вынести из общенія с поэтом какія-то цѣнности и указанія для нашей собственной жизни. Мы уже подходим к Пушкину идеологически, приблизительно так, как подходили к Мицкевичу польскіе эмигранты.

Если довоенная „передовая“ интеллигенція видѣла в Пушкинѣ безотвѣтственнаго „чистаго“ поэта, как хочет С. Л. Франк ²⁾, и скептически относилась к нему, как к мыслителю и человѣку, то в наши дни преобладает иной стиль подхода к Пушкинской проблемѣ. Вопреки тенденціям всевозможных формализирующих эстетов—жизнь поэта и, слѣдовательно, біографическій метод воспріятія его творчества стали центральной осью читательских интересов. Это вполне понятно. Личность и жизнь писателя в их естественной художественной полнотѣ всегда богаче и прекраснѣе тѣх отдѣльных крупиц вдохновенія, которыя удалось ему облечь в формы хотя бы даже наиболѣе удачных своих произведеній. Жизнь творца художника сама есть артистическое произведеніе болѣе сложнаго и высшаго порядка, нежели отдѣльные, отданные средѣ эстетическіе ея продукты. Желаніе постичь Пушкина, как личность и возможно ближе прикоснуться даже к бытовым мелочам его реального существованія вызвали появленіе в совѣтской литературѣ цикла художествен-

²⁾ Обращаю вниманіе читателей на насыщенную содержаніем статью С. Л. Франка „О задачах познанія Пушкина“, входящую в состав юбилейнаго сборника, изданнаго в 1937 г. в Бѣлградѣ.

ных романов-біографій поета, опирающихся на импонирующіе результаты „фактографическаго“ пушкиновѣдѣнія нашей эпохи. Интересное и достойное ближайшаго изученія явленіе большого культурно-психологическаго смысла.

Но крайнее обостреніе борьбы за политическое „я“ великаго писателя явно привело к тому, что в общих наших спорах фигурируют вмѣсто одного — три Пушкина. Первый — это Пушкин довоенных гимназій и хрестоматій добраго стараго времени. Он — политически причесан и даже напомажен. Сдѣлано все, чтобы придать „цензурный“ вид автору таких титанических и страшных в своей краткости произведеній, как „Пророк“ и „Анчар“. „Правда“, как бы говорили нам в своих учебниках почтенные, старые педагоги, „у Александра Сергѣевича были в эпоху весенняго половодья чувств политическіе грѣхи молодости, но позже он отказался от них так-же, как отказался от своих эротических увлеченій и проказ“. Не приходится говорить, что эта довоенная поддѣлка под Пушкина поражает сейчас своей очевидной фальшью. Считаая Пушкина „самым умным человеком в Россіи“, Николай I совсѣм не был склонен обращать в шутку его яркое бунтарство. Одинокій гроб на санях, выѣхавшій из Санкт-Петербурга в глухую вогчину морозной ночью и под эскортом жандармов — мрачное и символическое указаніе на то, что, несмотря на (вполнѣ законную) эволюцію взглядов поэта в сторону „житейской зрѣлости“, имя Пушкина было для его среды и эпохи знаменем политическаго протеста. Недаром громовые раскаты и далекія, огненные зарницы звучат и блещут в словах чуткаго современника — в стихотвореніи Лермонтова: „На смерть поэта“. „Собакѣ — собачья смерть!“ сказал Николай, узнав о безвременной гибели второго генія нашей поэзіи. Развѣ тут император не подвел итога и печальной исторіи своих взаимоотношеній с „камер-юнкером и поэтом“ А. С. Пушкиным? И неужели нѣтъ выстрадавашаго, автобіографическаго суб’ективизма в этих вдохновенных словах:

„Во глубинѣ сибирских руд
Храните гордое терпѣнье —
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье“.

Нѣкоторые из польских журналистов в прошлом году выдвинули против Пушкина ряд довольно вульгарных обвиненій, говоря о том, что он был „куплен“ Николаем I, политически безпринципен и т. п. Я позволю себѣ привести слѣдующую выдержку из моей статьи „Юбилей Пушкина в откликах польской печати“: „Вѣдь „Ода к молодости“ Мицкевича—это юношеская идиллія в сравненіи с патетическим бунтарством многочисленных произведеній Пушкина, принадлежащих к его революціонно-декабристскому циклу (довольно вспомнить знаменитый „Кинжал“). Конечно, Пушкину было несравненно труднѣе опредѣлить свое отношеніе и к польскому возстанію, и к официальной государственности Россіи, чѣм любому из польских патриотов, которым незачѣм было идейно колебаться. От Курбскаго и Котошихина до наших дней тянется историческая нить идейных критиков политической неприглядности Россіи. Пушкин еще в силах был завершить свой мучительный синтез рѣшеніем поддержать, в концѣ-концов, ту исторически единственную власть имперіи, которую с такой страстностью страданія бичевал он в своих эпиграммах“.

Вторым Пушкиным является нѣкій двойник, носящій его фамилію и лавры, потенциальный марксист, почти принятый уже и в компартію и в комсомол. Чтобы не быть обвиненным в склонности к преувеличеніям, я сразу же иллюстрирую свою мысль скучным лубком с гражданской слезой, вытекшей из под ребячески-беззаботнаго пера А. Жарова:

„Лишь у нас, молодых и счастливых,
Наступило его торжество.
На районных, партійных активах
Обсуждают творенья его.

Молодежь им по праву гордится.

Паренек девятнадцати лѣт

Говорит, не боясь ошибиться:

„Пушкин — наш, комсомольскій поэт“.

Послѣ сказаннаго мной выше нѣтъ уже надобности подробно анализировать и далѣе критиковать официально большевицкій препарат, который был сдѣлан в СССР из живых, кровоточащих тканей жизни и личности поэта. Ибо гораздо радостнѣе то, что очень многія прозаическія и стихотворныя высказыванія представителей современнаго поколѣнія СССР о Пушкинѣ, высказыванія людей все болѣе молодых и новых, ищут третьяго, настоящаго Пушкина, исполнены величайшей чуткости по отношенію к его индивидуальности и благоухающей, интимной любви к нему, как к человѣку. Пушкина цѣнят в СССР не как поэта, а как человѣка, пишущаго прекрасные стихи. Рассказывая о трагической дуэли, Елена Серебрякова говорит:

„И все. И кто-то вспомнит: был поэт
И снѣг. И человѣк—он спит. Покоен.
Но знает он, что племя молодое
Его разбудит через сотню лѣт“.

И не только разбудит, но и выступит в роли правозаступников поэта перед трибуналом его односторонних истолкователей, еще недавно звавших сов. молодежь к совершенно особой, новой „пролеткультурѣ“. Приходится вѣрить словам большевицкаго публициста:

„На наших глазах оживают, наполняются новыми соками, приобрѣтают новую силу, становятся элементом быта величайшія творенія лучших художников и мыслителей прошлых вѣков. Шекспир, Бальзак, Гете, Пушкин, Толстой, Гоголь становятся в нашей странѣ народными писателями, их творенія впервые в исторіи получают достойный их отзыв, оцѣнку у миллионов людей“.

Молодежи всегда было свойственно инстинктивное отвращеніе ко всякой теоретической искусственности. Ей нужнѣе „третій“, настоящій, живой Пушкин во всем неповторимом своеобразіи черт и противорѣчій его личности. Таких противорѣчій было много, и основное, политическое противорѣчіе Пушкина, замкнутое в извѣчной дилемѣ: историческая власть Россіи или ея революціонная антитеза, именно и явилось той почвой, на которой уродливо выросли оба предвзятых истолкованія Пушкина—„императорское“ и „большевицкое“.

5.

Цѣлый год литературная интеллигенція Сов. Россіи писала стихи „по случаю“ столѣтія страдальческой, но мужественной кончины поэта. Пушкин в поэтическом творчествѣ наших современников в СССР — это тема для многотомнаго изслѣдованія. Вдобавок — преждевременнаго. О Пушкинѣ там еще будут писать долго. Юбилей не кончен. С культурно исторической точки зрѣнія он только начался. В настоящем раздѣлѣ своего очерка я ограничусь приведеніем нѣскольких стихотвореній из т. н. „Поэтического вѣнка Пушкину“, опубликованнаго недавно в одном из номеров „их“ журнала „Новый Мір“. Эти стихотворенія всѣ без исключенія отличаются своеобразным, болѣе того, специфическим дуализмом своего содержанія и строенія. То двойственное расслоеніе, о когором я говорил выше, в примѣненіи к структурѣ большевицкаго пушкиновѣдѣнія, наблюдается и здѣсь, в области художественных реакцій совѣтских поэтов на праздник их великаго предшественника по исторіи отечественнаго искусства. Я ничѣм не рискую, утверждая, что такая расколотость содержанія свойственна почти всѣм стихам, сложенным в СССР в видѣ символическаго вѣнка на гробницу автора „Евгенія Онѣгина“. Исключенія здѣсь только подтвердят правило. „Геній и злодѣйство — двѣ вещи несовмѣстныя“, читаем мы в діалогѣ Моцарта с Сальери. Сегодня в государствѣ Сталина едва ли возможно написать художественно цѣльное стихотвореніе о Пушкинѣ. Каждое из мнѣ извѣстных состоит из болѣе или менѣе неловко увязанных между собой двух частей: официальной (обычно это вступленіе или наоборот, эпилог, удовлетворяющій политическому заказу Кремля) и части собственно Пушкинской, в которой находит пріют и подлинное вдохновеніе авторов. Я не хочу сказать, что в СССР нѣтъ поэтов, способных вдохно-

виться тематикой Октября. Но очень многие из них бессильны органически „увязать“ ее с заданной им новой темой: „Пушкин—народный поэт России“.

Я уже привел одно стихотворение из „Вѣнка“, в котором Александр Сергѣевич объявлен „комсомольским поэтом“.

Принятие Пушкина в комсомол удивлять не должно. Известен хлесткий лозунг большевиков о том, что доживи поэт до октябрьской революции—он оказался бы в рядах большевиков. Вѣдь „с исторической точки зрѣнія“ недостаточная политграмотность автора „Мѣднаго Всадника“ объясняется его эпохой.

Таков поражающий своей непродуманностью „исторический аргумент“ о поэте. Что он значит? Пушкин болезненно тяготился царской цензурой — что бы он сказал о идолопоклоннической моральной неволе по отношению к очередному „зигзагу“ генлинии? Развѣ не очевидна полная „несовместимость“ эмпирической личности поэта — индивидуалиста, несовместимость Пушкина „как он есть“ с политической и духовной природой сталинизма? Совѣтскіе начетчики приведут другой вариант: потомок поэта с его складом и одаренностью был бы коммунистом. „Пушкин бы нас, рядовой народ не оставил и разгадал бы, куда надо идти“ сказал один сов. критик. Это, конечно, уже фантазия, но и она недоказательна. Потомок Малюты Скуратова, вѣроятно, был бы отличным агентом ГПУ. Возможно, что внук Побѣдоносцева оказался бы выдающимся начетчиком от марксизма. Но развѣ эти предположения оправдали бы возникновение совѣтскаго культа дѣл и мыслей Побѣдоносцева и Малюты „как таковых?“

Русскіе зарубежники не обладают той марксистской методологіей діалектическаго мышления, которой так гордятся коммунисты, но, кажется, среди эмигрантов никто еще не задавался вздорным вопросом, гдѣ был бы гипотетический Пушкин наших дней и какую бы газету он выписывал, „Послѣднія Новости“ или „Возрождение“, если бы жил в Парижѣ. Ясно только одно: весьма многие мотивы совѣтской дѣйствительности несовместимы со взглядами и настроенностью живого,

исторического Александра Сергѣевича. Усвоив полиграмму „цѣликом и полностью“, он перестал бы быть Пушкиным и, что замѣчательнѣе всего, тѣм самым утратил бы и свою таинственную притягательность для широких масс пѣдсовѣтскаго населенія. А вѣдь многіе одаренные молодые люди пролетарской „страны Совѣтов“ находятся в том же сладком плѣну пушкинских образов, в котором пребывали и пребываюг еще юноши-зарубежники.

„Ленскій, Ленскій... Смертельную рану
За тебя бы я принял смѣло.
Вот такую бы мнѣ Татьяну,
И чтоб сердце стихами кипѣло...
Чтоб так же, как я над Ленским,
Кто-нибудь бы ночью порою,
Впечатлительный, с сердцем женским
Над моим заплакал героем...“
„Мнѣ с тѣх пор по ночам не спится,
И не знаю, создам-ли героя,
Но открытыя в дѣтствѣ страницы
Вмѣстѣ с жизнью своею закрою“.

Такова сложная «діалектичность» жизни. Изгнанным из своих гнѣзд и уцѣлѣвшим еще потомкам Татьян нѣтъ мѣста в родной странѣ, их надо политически ненавидѣть, но зато литературныя их личности и вся эстетика их жизненнаго стиля могут и даже должны быть об'ектами культа со стороны комсомольскаго «молодняка».

Поразительно то, как легко вышеприведенныя, задушевные изліянія Санникова уживаются с трескучей риторикой других фраз того же стихотворенія:

«Всей совѣтскою страню
Ты вождем поэтов признан,
И могучею волною
Входишь в мір соціализма.

Находчивый казеннокоштный поэт А. Коваленков привел новое официальное доказательство величія Пушкина. Это оригинальное и, посовѣтски, неопровержимое доказательство заключено во второй строфѣ слѣдующих стихов:

Тот, кто жил, глаза не жмуря,
Знал врагов и знал друзей,
Тот, кто в непогодь и бурю
Шел дорогою своей —

Тот найдет в поэтѣ друга
И поймет (коли не знал),
Почему в часы досуга
Ленин Пушкина читал.

Литературно интереснѣе стихи Бориса Корнилова. От описанія дремотной, сумеречной скуки болдинских вечеров опального поэта он переходит к помпатически звучащим утѣшеніям, адресуясь с ними к Александру Сергѣевичу:

«Через сотню лѣт и через двѣсти
(Грандіозные годов ряды)
Всѣ поэты соберутся вмѣстѣ
Вашими поэмами горды.

И опять грохочет гром побѣдный,
Разрывая на куски покой,
Скачет всадник над Невою Мѣдный
И поет Земфира над рѣкой.

Страшное прошло одно столѣтіе.
Александр Сергѣевич, гляди —
Император, отдѣленье третье
Это все — осталось позади».

Корнилов, к сожалѣнію, ничего не говорит о том страшном, что остается еще впереди.

В тот же вѣнок обладатель непоэтической фамиліи В. Насѣдкин вплетает скромный, но благоухающій цвѣток своего дара. У Насѣдкина — жар поэзіи в груди и рожденныя им сильныя, простыя слова:

«В строй чувств и мысли он вводил
Такую простоту движенья,
Что голос навѣки сохранил
И мощь и свѣжесть выраженья...

И не в столѣтнем далекѣ
А нынѣ, здѣсь читатель слышит,
Как в золотой его строкѣ
Живое сердце — бьется, дышит».

Послѣ всего, сказаннаго выше, пріятно остановиться на творчествѣ Незлобина, художественно мощ-

ном и тонком в одно и то же время, В его стихах, формально и по существу созвучных знаменитым „Бѣсам“, много старой, народнической, пожалуй, даже Некрасовской революціонности, но нѣтъ трафаретной интернаціонально - марксистской догмы. Лишь послѣ того, как русская интеллигенція прошла „по мукам“ через глад, мор и междоусобную брань октября, мог появиться такой замѣчательный в своей художественно-реалистической части роман, как „Петр I“ Ал. Толстого. И только из слѣпящей метели російскаго безвременья могли родиться эти стихи:

„Так проходит долгій вечер
В одиночествѣ глухом.
Опывая, меркнут свѣчи
Над неприбранным столом.
Свѣчи тѣнь кидают четко
На простѣнок, в переруб, —
От крутого подбородка
И больших, печальных губ,
От густых, свѣтловолосых,
Перепутанных кудрей,
Как пророческій набросок
Монумена наших дней.
Тѣнь в простѣнкѣ шевелится,
Губы темныя дрожат.
А в окно —
Метель, как птица
Бьет и падает назад.
Бьет и падает, как птица
С перешибленным крылом.
И поэту снова снится
За неприбранным столом,
Что не вьюга
И не птица,
А в звено его окна
Пятерней худой стучится
Подневольная страна.
Тяжким вздохом угрожая,
Вся в лохмотьях, вся в тоскѣ--

Непонятная, чужая
Петербургу и Москвѣ —
За окном стоит Россія,
За окном стоит народ,
Руки черныя, косыя
Грозно вымахнув вперед
Из безправья, из безлюдья,
Гдѣ лишь темь,
Да глушь,
Да звѣрь —
Он идет
И всею грудью
Надвигается на дверь.
Крѣпкій тес трещит,
И гвозди
В гнѣздах дѣдовских визжат.
Миг один, и влѣзут гости
И не вылѣзут назад.
Тушит свѣтъ поэт и с дрожью
Смотрит пристально в окно —
Снѣговое бездорожье
Непробудно и темно.
Ни души в снѣгу усадьбы
Только вѣтер дует в щель,
Да хмѣльные, с волчьей
свадьбы
Мчатся мѣсяц и метель.

Относится ли замѣчательное стихотвореніе Незлобина только к дореформенной Россіи Николая I или могучій язык его строф обращен и к совѣтской современности—на это пусть отвѣтит себѣ сам читатель.

Андрей Сурков.